



## Владислав ХОДАСЕВИЧ

### «Начало века»

Книга Андрея Белого «Начало века» вышла почти накануне его кончины<sup>1</sup>. Она представляет собою второй том его воспоминаний: первый появился несколько лет тому назад под заглавием «На рубеже двух столетий». В нем говорилось о детских, гимназических и студенческих годах автора. В «Начале века» встречаем мы уже молодого писателя — не Бориса Бугаева, а Андрея Белого. В книге почти пятьсот страниц, но охватывает она весьма небольшой отрезок времени — лишь с 1901 по 1906 (приблизительно) год. Успел ли Белый продвинуться дальше в своих воспоминаниях и суждено ли нам прочесть им написанное, — я не знаю.

Каждый писатель, живущий в СССР и желающий там издать свою книгу, вынужден сам до известной степени приспособить ее к требованиям цензуры и казенного мировоззрения. Но в тех случаях, когда дело касается авторов, подозреваемых в «несозвучности эпохе», таких авторских приспособлений оказывается не достаточно. Советское начальство считает необходимым предпосылать книгам собственные предисловия, в которых нынешнему читателю разъясняется, как ему следует понимать эти книги и как относиться к авторам. Такие предисловия пишутся по «стандартной» схеме: автор-де устарел и не просвещен светом Маркса, Ленина, Сталина, но с его книгой полезно ознакомиться, чтобы «овладеть литературной техникой буржуазных спецов» (это если книга поэтическая или беллетристическая) или чтобы понять, в чем состояли заблуждения и пороки буржуазной мысли, общественности, науки (это в тех случаях, когда книга критическая, научная или мемуарная). Такими предисловиями, по верованию большевиков, книги обезвреживаются, заключенный в них яд идеализма перестает действовать на читателя. Другая цель предисловий — более практическая. «Буржуазные» авторы расходятся лучше, чем коммунистические. Поэтому коммунистический критик, насильно пристегивая свое предисловие к книге такого автора, обеспечивает себе лучшее распространение и лучший гонорар — за счет чу-

жой популярности. Это в общем похоже на вселение в чужую квартиру. Наконец, такое вселение доставляет автору-коммунисту и некое сердечное удовольствие: приятно почувствовать свое превосходство над тем самым писателем, по сравнению с которым ты некогда был совершенным нулем. Лет двадцать тому назад какой-нибудь Каменев печатал свои марксистские статейки в никому не известных листках. В те времена Андрей Белый, всего вероятнее, даже о существовании Каменева не знал хорошенько. Теперь Каменев со своим предисловием развалился в книге Андрея Белого, как лакей на барском диване. Теперь он Андрея Белого «разъясняет», отчитывает, похлопывает по плечу, а порой говорит ему наглые дерзости тоном великого авторитета. Авторитет основан на том, конечно, что попробуй Андрей Белый протестовать — его либо заморят голодом, либо отправят в тюрьму. Но Каменев не смущается, даже напротив: хамит, сколько может, чтобы доставить себе наибольшее удовольствие. Делает это он даже не без изобретательности. Его любимый прием — плюнуть во что-нибудь, заведомо дорогое Андрею Белому, но так, чтобы сделать это, как будто и не замечая наносимой обиды. Старую злобу за свое литературное ничтожество перед Андреем Белым Каменев прикрывает поддельной суровостью историка. Эта хамская наглость еще усугубляется тем, что Каменев ее себе разрешил как раз в те месяцы, когда Андрей Белый был поражен смертельной болезнью<sup>2</sup>.

Оставим, однако же, в стороне оценки моральные. Умным человеком Каменева назвать трудно. Но он и не глуп. Несмотря на марксистскую тупость, в обширной своей вступительной статье он затронул ряд существенных тем, возникающих при чтении беловской книги. Поэтому мы отчасти даже воспользуемся его статьей, не потому, что очень хотим с ним полемизировать, а потому, что его замечаниями до некоторой степени подсказывается план наших собственных.

Каменев начинает такими словами: «С писателем Андреем Белым в 1900—1905 гг. произошло трагикомическое происшествие: комическое, если взглянуть на него со стороны, трагическое — с точки зрения самого писателя. Трагикомедия эта заключалась в том, что, искренно почитая себя в эти годы участником и одним из руководителей крупного культурно-исторического движения, писатель на самом деле проблуждал весь этот период на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы. Эту трагикомедию Белый и описал ныне в своей книге»<sup>3</sup>.

Нелепость такого утверждения его в литературной части слишком очевидна. Как ни оценивать символизм, нельзя отрицать, что фактически он был в начале века ведущим литературным движением и становился господствующим. Но, повторяю, полемизи-

ровать с Каменевым я не хочу. Гораздо любопытнее та часть его утверждения, которая касается истории и культуры. По его мнению, те писатели, художники, профессора, философы, музыканты, среди которых жил и действовал Андрей Белый, потому очутились на затхлых задворках, что, как явствует из воспоминаний Белого, они постепенно преодолевали буржуазный либерализм, но непростительно проглядели то мощное движение, которое уже нарастало и наконец прогремело Октябрьской революцией.

Тут, сам того не замечая, Каменев открывает очень любопытную сторону беловских воспоминаний. Каменевскую оценку совершавшегося процесса мы можем отбросить. Самый же процесс определен им совершенно верно, и таким образом книга Белого оказывается воспоминаниями о том, как люди, далеко друг другу не равноценные умом, дарованиями, нравственными качествами, разделяемые к тому же возрастом, положением, первоначальными основами мировоззрений, — делали общую, весьма замечательную, воистину провиденциальную работу. По мнению Каменева, преодолеть буржуазный либерализм и в то же время пройти мимо марксизма было скитанием по задворкам и роковым приближением к «неслыханному падению» — к «поповской рясе». «Чем кончили основные персонажи этого якобы бунта против буржуазной культуры, который описывает Белый?» — спрашивает Каменев и с ужасом отвечает: «Бегством в церковь, в Бога, в теософию. Эллис и Соловьев — католические, Булгаков и Флоренский — православные попы; Мережковский, Эрн, Розанов, Гиппиус — проповедники поповства; Бердяев нашел утешение в мечте о реставрации идейного средневековья; сам автор убежал в антропософию»<sup>4</sup>. Обзор краткий, страдающий неточностями, но в основных чертах верный и чрезвычайно яркий. Из него явствует, что задолго до коммунистической революции этими людьми было предчувствовано и поставлено в порядок дня то религиозное возрождение русской интеллигенции, которое ныне открыто совершается в эмиграции и тайно — в советской России. Внутренне преодолевая пороки русской буржуазной культуры и отчасти «декадентскими» сторонами своей деятельности помогая ее распаду, порой враждуя между собой, продвигаясь ощупью и нередко сбиваясь с дороги, эти люди, главные герои беловских воспоминаний, уже намечали тот именно путь, по которому должна будет пойти Россия при ликвидации большевизма. Иными словами, они не блуждали по задворкам истории, а далеко опережали ее, заглядывая в очень отдаленное будущее: через голову надвигающегося большевизма — уже в ту эпоху, которая и сейчас еще не настала, которой и сейчас еще только предстоит быть. Весьма возможно, что сроки еще не близки, но, как это ни ужасно для Каменевых, полу-Каменевых и четверть-Каменевых, — Россия вновь станет

тою христианской страной, какую она была, или — вернее — какую она хотела, но еще не умела быть. И тогда с бóльшим почитанием, чем даже нам сейчас кажется, она назовет имена многих людей, которые изображены в книге Андрея Белого.

Каменев очень верно подметил, что такие изображения у Белого весьма часто отрицательны и исполнены скрытой или явной злости. Это обстоятельство приводит Каменева в злобную, но наивную радость. К общей характеристике воспоминаний Белого мы еще вернемся и тогда попытаемся указать причины той вражды, которая, действительно, очень часто у Белого проявляется по отношению к бывшим друзьям. Некоторые беловские характеристики нам представляются справедливыми, другие — нет. Но и в тех случаях, когда Белый прав, — Каменеву радоваться нечего. Речь ведь идет не о святых. Нам теперь очень ясно, что многие герои беловской книги делали великое и благое дело. Это не мешало им быть людьми слабыми, грешными, какими иные из них остались и по сей день. Однако, роняя себя, они отнюдь не роняли своего дела. Каменев напрасно радуется, полагая, что компрометацией деятелей Белый компрометирует самое дело их. Выставляя пороки своих друзей, Белый только не догадался, забыл или, может быть, не посмел тут же предупредить Каменевых, что если даже эти люди порою бывают малы и мерзки, то не так и не тем, как думают Каменевы, а главное — что в самой своей малости и мерзости они неизмеримо лучше Каменевых и самому Андрею Белому во сто крат милее и ближе. В конечном счете непроходимая черта лежит не между этими людьми и Андреем Белым, а между Белым и Каменевым. С людьми, к которым в книге своей Андрей Белый проявил столько вражды и злобы, он был и остался связан такими узами, о силе и смысле которых Каменев не подозревает. Эти узы имеют, если можно так выразиться, свою диалектику. Те, кого Белый язвит и порою оскорбляет в своей книге, в последнем счете были и остались ему братьями: перед лицом Каменевых. В один из периодов острой вражды к Мережковскому Блок писал кому-то (не помню сейчас, кому именно), что перед лицом кого-то третьего (опять же — не помню, кого) он готов руку поцеловать Мережковскому<sup>5</sup>. Я знал Белого так, как Каменев его не знал и не мог знать. Свидетельствую: перед лицом Каменева и Каменевых как раз тому же Мережковскому, о котором, к радости Каменева, наговорил — наболтал! — он теперь столько дурного и злобного, — Белый, конечно, в любую минуту поцеловал бы обе руки и был бы, конечно, правдив и прав. Зная Белого, я даже позволю себе утверждать, что воскресни он завтра — не только Каменеву, но и никакому вообще «чужому» не позволил бы он радоваться его злобным характеристикам и к ним присоединять свои злобные замечания. Уверен, что с дикою яростью обрушился

бы он на многих, кто перед ним посмел бы сказать о том же, например, Мережковском десятую долю того, что сказал он сам. Ярость свою мотивировал бы он тем, что «моя злоба выстрадана, а ваша — нет», что «я браню Мережковского с тех позиций, на которых вы не бывали». Очень жаль, что Белый, большой любитель методологических тонкостей, на сей раз позабыл оговорить, в каком смысле следует понимать его злые характеристики и в какой степени можно их принимать. Еще более жаль, что этого злого бисера наметал он именно сейчас, именно в Москве, перед лицом Каменевых. Признаюсь, наконец, что опубликование этой книги в том виде, как она написана, сейчас представляется мне преждевременным. Такое опубликование было, конечно, тактическое ошибкою Белого. Несколько ниже я попробую объяснить, как он к ней пришел и почему совершил, а сейчас коснусь еще одной особенности его книги из числа отмеченных Каменевым.

«От Белого, — пишет Каменев, — ожидаешь узнать кое-что о существе умственной жизни, о борьбе идей, об их филиации хотя бы только в узкой прослойке русской дореволюционной интеллигенции. А вместо этого в книге находишь паноптикум, музей восковых фигур, не динамику идей, а физиологию их носителей... Прочитав книгу Белого, очень мало узнаешь по существу о том, какие же собственно мысли, идеи, формулы, лозунги выдвигались и отстаивались его спутниками и противниками, соратниками и врагами... Мы знаем, что все эти люди умели более или менее членораздельно излагать свои мысли. Белый заставляет их высказывать свое мировоззрение не словами, а усами, бородавками, ногами... Персонажи Белого, — что бы ни стояло в данный момент в центре их внимания: оценка Гёте или событие 9 января, картины Боттичелли или распря между «Весами» и «Новым Путем», — мяучат, пришептывают, извергают слюну, гримасничают, хрюкают, похохатывают, действуют руками, ногами и тазом, но не говорят»<sup>6</sup>.

Что касается «музея восковых фигур», — тут Каменев просто повторил стереотипную фразу, не вникая в ее содержание. Персонажи беловских воспоминаний представлены с необычайною жизненностью. Это — движущиеся портреты, нередко шаржированные, но всегда чрезвычайно меткие, сохраняющие глубокое сходство с оригиналами даже в тех случаях, когда каприз или несправедливость явственно обуревают автора. Гораздо более прав Каменев, упрекая Белого в том, что его герои больше пришептывают, гримасничают и жестикулируют, нежели говорят. Сам Белый объясняет это в своем предисловии тем, что не хотел заставлять их произносить слова вымышленные, а действительно сказанные утрачены его памятью. Однако мне кажется, что все же он мог бы заставить их выражаться несколько более связно: ведь все равно — диалог, вводимый им в книгу, не представляет

собою записи абсолютно точной, стенографической. С другой стороны, совершенно не прав Каменев, ставя Белому в вину то, что из его мемуаров мало можно узнать об идеях действующих лиц. Такую задачу мог бы себе поставить историк или критик — отнюдь не мемуарист. Дело мемуариста — изображение именно людей, а не их мыслей. Именно не динамика идей, а скорее физиология их носителей составляет предмет всяких литературных воспоминаний. Мемуарист, рассказывая о писателях, философах и т. п. лицах, предполагает их писания и идеи заранее читателю известными. Читатель не должен браться за мемуары, надеясь сим легким способом ознакомиться с теми книгами, которые им не прочитаны. Задача мемуариста — познакомить читателя с теми свойствами исторических лиц, которые не сказались прямо в той сфере творчества, которая сделала их историческими. Поэтому в писаниях мемуариста «физиологические», как выражается Каменев, данные более уместны и по-своему ценны, нежели пересказы идей и книг, — так же, как характеристики личных связей более полезны, чем сопоставления литературных течений. Таким образом, свою задачу мемуариста Белый понял и разрешил правильно. Как историку, можно ему поставить в вину совершенно иные погрешности, к которым мы теперь и перейдем.

Чтобы понять психологию Андрея Белого как автора этой книги, надо припомнить историю того, как возник и эволюционировал замысел «Начала века».

Раннею осенью 1921 г., вскоре после смерти Блока, Белый прочел о нем в Петербурге две лекции: «Философия поэзии Блока» и «Воспоминания о Блоке»<sup>7</sup>. Эта вторая имела исключительный успех, и Белого упросили ее прочитать еще раз.

То была его прощальная лекция: публика знала, что он едет в Москву, а оттуда за границу<sup>8</sup>. Проводы ознаменовались настоящими овациями: Белого провожали не только как его самого, но и как друга Блока. О том, что Белого с Блоком связывало, публика знала и раньше, и вновь слышала в только что прочитанных лекциях. О глубоких и сложных расхождениях между Белым и Блоком было известно лишь небольшому сравнительно кругу людей. Расхождений этих Белый почти не касался в своих воспоминаниях, а если касался, то в самых туманных намеках. Происходило это вовсе не оттого, чтобы он хотел что-либо скрыть, а лишь потому, что, рисуя образ Блока, старался отодвинуть себя на второй план и избежать всякой загробной полемики. Такою позицией Белый даже отчасти сам увлекся, и его воспоминания приняли характер апологии.

Приехав в Москву, он и здесь прочитал свои воспоминания, а затем предоставил их для печати какому-то частному издатель-

ству (если не ошибаюсь — «Северные дни»), в альманахе которого они и были напечатаны уже после того, как Белый выехал за границу<sup>9</sup>. Воспоминания свои он для печати расширил и дополнил. Это была уже вторая их редакция, если не считать отдельных вариантов, которые он всегда вносил в свои чтения.

К концу 1921 г. Белый добрался до Берлина. Издательство «Геликон» предложило ему редактировать серию альманахов, получивших название «Эпопея». Память о Блоке была еще свежа, интерес к нему очень велик, и Белый (не знаю — самостоятельно или по чьему-либо совету) решил с ним написать целый труд, в котором сильно расширенные и детализированные воспоминания должны были соединиться с исследованием о творчестве Блока. Он принялся за эту работу, которую и печатал отдельными главами по мере того, как они писались. Таким образом, получилась уже третья редакция воспоминаний о Блоке. От первых двух она должна была отличаться только объемом материала, но не освещением его. Принципиально Белый и на сей раз хотел сохранить апологетический характер воспоминаний, хотя теперь это сделать было ему труднее, потому что, детализируя тему, он очутился уже на границе тех обстоятельств, из-за которых его отношения с Блоком были в корне подточены очень рано: почти что в самом уже начале их быстро возникшей дружбы<sup>10</sup>. Этих обстоятельств Белый и на сей раз не коснулся. По ряду причин он и не вправе был это сделать. Однако теперь, когда воспоминания оказались сильно расширены и когда сам Андрей Белый сделался в них гораздо более деятельным лицом, умолчание о важных событиях, составлявших в сущности самую сердцевину его отношений с Блоком, придало воспоминаниям несколько неправдивый оттенок, который он сам признавал. В одном разговоре со мной он тогда сказал: «Я пишу, а сам левой рукой сдерживаю правую».

Тут надо упомянуть о душевном состоянии Белого во время этой работы. Она совпала с очень тяжелыми событиями в его личной жизни. Белый находился как раз в том надрывном «берлинском» периоде своей жизни, который ознаменовался пьянством и дикими выходками, получившими в эмиграции известность, к сожалению — всеобщую. Если в этом состоянии Белый все-таки удержался от того, чтобы коснуться вовсе запретной стороны дела, то это был лишь самогипноз пьяного, доказывающего, что он может пройти по одной половине. Но в том, что не касалось непосредственно Блока, он себя не гипнотизировал и с «половицы» сорвался сразу. В воспоминаниях о Блоке досталось многим — главным образом потому, что Белый заставил себя быть сугубо осторожным по отношению к памяти Блока и к некоторым лицам, здравствующим еще и поныне. Д. С. Мережковский очутился одним из громоотводов.

Между тем, работая над третьей редакцией воспоминаний о Блоке, Белый пришел к новой мысли. Его воспоминания захватывали все более широкие круги людей и событий. Отсюда возник у него замысел: воспоминания о Блоке превратить в воспоминания обо всей литературной эпохе. Это было в конце 1922 г. Белый решил написать два или даже три тома под общим заглавием «Начало века»<sup>11</sup>.

Я жил тогда под Берлином. Белый часто приезжал ко мне дня на два, на три, а иногда оставался на целую неделю. Будущий труд, к которому он тотчас же приступил, был одною из самых частых тем в наших беседах. Считаюсь с психологическим (или, лучше, нервическим) состоянием Белого, я настойчиво проводил ту мысль, что, расширив рамки, следует ему чисто мемуарный труд превратить в мемуарно-исторический, то есть, ведя повествование от первого лица, отнюдь не впадать в автобиографию, стараясь добиться того, чтобы главным действующим лицом будущей книги был *символизм, а не Андрей Белый*. Я рассчитывал, что если Белый постарается не упускать из виду такое задание и сколько-нибудь станет его придерживаться, то и книга приобретет более широкий смысл, и высказывания об отдельных людях станут более объективными. На то, чтобы Белый оказался способен вовсе победить минутные порывы и страстные высказывания, я не рассчитывал, но надеялся, что некоторых результатов мне удастся достигнуть. Казалось, мои старания отчасти готовы были увенчаться успехом. Весною 1923 г. первый том «Начала века» был закончен. Объективным показателем того, что Белый к моим настояниям прислушивался, была обширная вступительная глава, в которой, сделав одно мое стихотворение как бы лейтмотивом, Белый объявлял символизм осью жизни своей вообще и данного труда в частности.

Книга была сдана в издательство, но по техническим причинам выход ее задержался. Продвинув уже довольно далеко работу над вторым томом, Белый в конце 1923 г. уехал в Россию. Обстоятельства между тем сложились так, что первый том «Начала века», целиком набранный, не был, однако же, отпечатан. (У меня есть надежда, что корректурные гранки его сохранились и когда-нибудь будут опубликованы.)

Очутившись в России, Белый, видимо, махнул рукою на первую версию «Начала века», которая, в сущности, была уже четвертою версией воспоминаний о Блоке. Можно думать, что появление этой книги было бы для него и не особенно приятно, так как дух ее слишком не согласовался с теми воззрениями, которые обязательны для писателя, живущего в России. Однако со своим замыслом он и теперь не расстался. Дело лишь в том, что «Начало века» вновь и окончательно стало ему представляться не книгою



об эпохе, а книгой о нем самом: автобиографией в самом тесном смысле слова. Поэтому-то, решив опять за нее взяться, он «Началу века» предпослал целый новый том, в котором рассказывал об эпохе своего детства и ранней юности. Несколько лет тому назад эта книга вышла под названием «На рубеже двух столетий». В ней отчасти повторил он то, что художественно было им ранее рассказано в «Котике Летаева», в «Преступлении Николая Летаева», в «Крещеном китайце», в «Московском чуде» и в «Москве под ударом». Подчеркиваю, что первоначально у Белого и мысли не было о такой книге. Она понадобилась лишь после того, как «Начало века» из истории символизма в сознании Белого окончательно превратилось в автобиографию.

Такая подмена задания автоматически суживала значение книги и снижала ее ценность. Оправдать эту подмену с точки зрения истории невозможно. Но психологические причины ее, мне кажется, угадать не трудно.

Поехав в Россию, Белый там наконец обрел тот семейственный лад и уют, которого ему так недоставало всю жизнь и которого каждый человек, особенно в немолодые годы, вправе хотеть. Вероятно, и в качестве антропософа нашел он себе подходящее, очень тесное, окружение. Но в литературном смысле оказался он одинок в высшей степени. Это одиночество не только не смягчалось, а, напротив, резко и ежеминутно подчеркивалось теми писателями и критиками, которые, то заявляя себя даже «учениками» его, то усиленно говоря о его «историко-литературном» значении, тем самым все дальше отодвигали его из настоящего в прошлое. Он видел себя окруженным «почитателями», внешне перенявшими многое из его литературного опыта, но не принявшими и даже не понявшими ничего, что ему самому было в действительности дорого и что было для него внутренним импульсом всей былой деятельности. Все сколько-нибудь выдающиеся люди, с которыми он по-настоящему был связан (дружбой или враждой или — нередко — сложнейшими узами дружбы и вражды вместе), — либо умерли, либо очутились за рубежом. Это одиночество усугублялось еще одним весьма важным обстоятельством. Основная идея всей его жизни, символизм, и вся литературная эпоха, с которой он связан был неразрывно, эпоха символизма, не будучи, разумеется, серьезно пересмотрены и переоценены, в каждодневной литературной практике советской России подвергались систематическому осуждению, если не надругательству. За примером ходить не далеко: каменевское предисловие к «Началу века» есть лишь один из случаев этого надругательства. К самому Белому относились в лучшем случае не более как к терпимому осколку нетерпимой эпохи. Эту терпимость (и то весьма относительную) к своей особе приходилось ему покупать ценою двусмысленных заявле-

ний, сводившихся к тому, что и в нем, и в символизме вообще все было вовсе не так враждебно марксизму и большевизму, как думают нынешние «властители дум» — властители в самом буквальном смысле этого слова. Греха таить нечего: иной раз в своих заявлениях Белый заходил слишком далеко, — но это особая, довольно сложная тема, которой касаться сейчас у меня нет времени. Факт тот, что в условиях советской жизни апология символизма, какую должна была быть книга по первоначальному замыслу, — оказывалась неосуществима. Большевики могли допустить не более как автобиографию Андрея Белого. Он и соскользнул окончательно в автобиографию. Позволю себе сказать так: новые условия жизни толкнули его как раз к тому, от чего я его удерживал.

Перестроив и сузив задание книги, Белый покатился по наклонной плоскости. Нужно думать, что и без того в пятый раз писать об одном и том же было ему скучновато. Прежних текстов у него не было или они имелись у него не полностью. Масштаб работы ему был неясен, ибо, как явствует из заключительных строк «Начала века», он был неуверен в том, что советские издатели согласятся печатать дальнейшие тома<sup>12</sup>. Внешние условия работы были тоже, надо думать, весьма тяжелы. Наконец, последние корректуры «Начала века» он, судя по датам выхода книги и его кончины, читал уже будучи тяжело болен. Отсюда — несообразность частей, забегания вперед, повторения, стилистический разнобой и прочие чисто литературные недостатки книги, написанной и выпущенной в очевидном состоянии депрессии.

К этой депрессии литературной прибавилась нравственная. Те, кто хорошо знал Белого, не удивятся, если я скажу, что она выразилась в действиях, как будто бы с нею даже несогласуемых. Но именно таков был Белый, что нравственная усталость всегда у него сказывалась в форме поступков и высказываний, по внешности чрезвычайно бурных. Крайняя импульсивность Белого общеизвестна. Она всякий раз становилась тем сильнее, чем более был он ослаблен внутренне.

Одно обстоятельство, с виду незначительное, я думаю, сыграло важнейшую и прискорбнейшую роль в писании «Начала века». Дело в том, что в 1927 г., под редакцией М. А. Бекетовой, были изданы письма Блока к его родным<sup>13</sup>. Естественно, что Белый их прочел: помимо других причин, они были ему полезны для проверки некоторых дат и подробностей. В них он нашел несколько неприятных для себя строк — жаль, что М. А. Бекетова их не исключила: в качестве тетки Блока она-то ведь хорошо знала Белого. Белый вышел из себя и уже на все время писания книги потерял всякую способность думать не только о г-же Бекетовой, но и о Блоке. Все, что было тайно-враждебного между ним и Блоком, вырвалось наружу с силою, для историка и мемуариста недопус-

тимою<sup>14</sup>. Не имея возможности, как и прежде, говорить о своих отношениях с Блоком во всем объеме, Белый, очевидно, пришел в совершенную ярость. Книга, возникшая из апологии Блока, превратилась в памфлет. Утратив способность говорить любовно о Блоке, который в известном смысле был и остался для него дорожкой едва ли не всех персонажей его автобиографии, Белый соответственно обрушился и на многих других. Лишь несколько человек избежали его сатирического бича, столь странного в руках историка. Но историком он уже и не хотел больше быть. Все неприятности, все обиды, все тяжкие минуты, которые бывают в жизни каждого человека и в которых всегда отчасти виновны его окружающие, Белый припомнил. Не только каждый грех против него лично, но и каждое расхождение совершенно отвлеченное, — стали под его пером чуть ли не преступлениями: против Белого, против истории, против России, чуть ли не против Бога. Никакого желания понять других у него уже не стало — даже и не хотел он иметь такое желание. Себя, единственно себя, свою житейскую надобность и в лучшем случае идейную привязанность сделал он единственными мерилami людей и событий. В книге его, при всех промахах, осталось немало литературных достоинств. Порою она блистательна. Но как историка, сколько-нибудь способного оценивать события и людей, понимать причины и находить следствия, — Белый себя окончательно зачеркнул.

При всем том: в самом неистовстве своих карикатур (а слишком многие люди в книге его, на радость Каменеву, вышли карикатурами) — Белый и в них дал огромное множество верных, прекрасно и метко схваченных черт. Будущий историк символизма впадет в безнадежную ошибку, если вздумает пользоваться беловскими характеристиками без проверки и пересмотра. Но такую же ошибку он совершит и в том случае, если не станет с этими характеристиками считаться. В людях и событиях, изображенных Белым, было не только то, что показал нам Белый. Но в них было и все то, что показал Белый, лишь в иных пропорциях, в иных соотношениях. Каждому, кто интересуется эпохой символизма, «Начало века» прочесть необходимо. Нужно быть глубоко благодарными Белому за его книгу. Но нельзя без самых существенных поправок принять его характеристики и, к несчастью, надо простить ему немало грехов, которые он в ней совершил. В ней досталось несправедливо не только врагам, но и друзьям, тем, кто глубоко любил его и кого он сам, утверждаю это категорически, гораздо более любил, чем может подумать читатель, который вычитает из его книги лишь то, что написано в ней черным по белому.

